

**Ферапонтово**

Ферапонтово ... Впервые это слово прозвучало для меня в 1954 или 1955-м. Тогда, в студенческие годы, я купила книгу Н.М. Чернышева «Искусство фрески в Древней Руси». Увидела ее, должно быть, просто в каком-то газетном киоске. Это была первая книга по искусству, купленная мной. И на годы остававшаяся единственной. Я читала и ее и перечитывала несчетное число раз, хотя многого не понимала. Черно-белые репродукции не давали, конечно, представления о фресках. И удивляло, что речь у автора шла о фресках только двух монастырей – Снетогорского и Ферапонтова.

Почему я купила эту книгу? Наверное, потому, что хотелось понять древнерусское искусство. Очень хотелось. Да и вообще понять живопись. Была я тогда, как в темном лесу. Что я знала? В детстве – Третьяковскую галерею – по открыткам. Впервые попала в Третьяковку, должно быть, в 1945-м – мы были с мамой проездом через Москву. Помню «Явление Христа народу». Перед картиной сидели люди – было несколько рядов стульев. Сидели молча. Сели и мы. К маме шепотом обратилась какая-то девушка, спросила: «А кто такой Христос?», удивив маму этим вопросом. А потом были залы и залы, полыхавшие красным – какие-то съезды, вожди на громадных полотнах. А одно полотно отличалось: там был не только красный, но и ярко-розовый цвет в огромных количествах.

В студенческие годы (1952–1957) я упорно ходила по музеям. Как-то в летние каникулы, недолго побыв дома у мамы, приехала в душную летнюю Москву и опять ходила в Третьяковку. Заходила и в залы, где висели иконы. Это были две небольших комнаты на первом этаже. Попасть в них можно было только через зал графики, из которого шел путь дальше, к советскому искусству. Все так и шли. В аппендикс с иконами никто не заходил. Ни разу не видела я там ни одного посетителя. И смотрительниц там тоже не было.

Однажды я так же безнадежно провела там какое-то время и расстроенная вышла в зал графики. Ко мне подошел молодой человек, скорее

– мальчик, и сказал, что видит, как я стараюсь понять искусство. И видит, что у меня ничего не получается. Предложил помочь и провел меня по залам галереи. Звали его Игорем. Оказалось, что он мечтает быть художником, учится у старого мастера. Пожалел меня.

Помню, что останавливался он у этюда Иванова с головой Иоанна Крестителя, у картины Левитана, кажется, «Вечер» (что-то с огоньками за рекой). Сколько раз я потом проделывала этот маршрут одна. На всю жизнь благодарна я этому человеку. Не помню, что он говорил возле икон. Но что-то, видно, сдвинулось у меня в мозгу. Забрестило какое-то понимание. И я все ходила и ходила в эти залы. Однажды на стене, крашеной светло-зеленой краской, рядом с рублевской «Троицей» увидела выцарапанную надпись «ТАНЯ». Меня это поразило и как-то испугало. Сейчас думаю – ведь мог человек, забредший в этот зал, нацарапать что-нибудь и на самой иконе. Никакой охраны – повторяю – не было.

Пропущу годы, когда живопись и архитектура стали для меня главным интересом в жизни: и французских художников в ГМИИ, и Новгород, и Владимир, и музеи Ленинграда, и многое другое. Был и длительный период, когда реалистическую живопись я вообще смотреть не могла – только иконы. Но в Ферапонтове все еще не была.

В один из летних отпусков, должно быть, 1962 или 1963 г., я отправилась в Кижы, а оттуда в Старую Ладугу. Знала, что там есть фрески XII века. Где удастся остановиться, не имела представления. Ничего я тогда не боялась. Со мной в автобусе заговорила какая-то девушка. Узнав, что еду в «никуда», предложила остановиться у ее матери. Там жили еще несколько девушек с «Североникеля», присланных на сельскохозяйственные работы. Переночевав, пошла к Георгиевскому собору. Нашла жилище сторожа. Объяснила, что приехала увидеть фрески. Сторож сказал: в соборе работает художник из Москвы. Если разрешит, то – пожалуйста.

Художник, Адольф Николаевич Овчинников, копировал фрески. В ответ на просьбу стал меня расспрашивать. Не помню уж точно, о чем мы говорили, только под конец сказал:

– Вы или физик, или химик. Не гуманитарий – разбираетесь.

И тут же велел браться за дело – рисовать. Рисовать меня старалась подвигнуть еще раньше какая-то художница в Кижях. Не верила, что я не умею. Еле я от нее отделалась. И тут я тоже стала говорить о своем неумении. Адольф Николаевич слушать не стал.

– Но у меня нет ни карандаша, ни бумаги, – пролепетала я.

– Вот Вам карандаш и бумага. Чтобы понять живопись и архитектуру надо обязательно рисовать. Уходите из храма и, пока не нарисуете его снаружи, не возвращайтесь.

Делать было нечего – пришлось выйти. Способностей к рисованию у меня, правда, не было никаких. Абсолютно. И самыми трудными предметами в институте были начертательная геометрия и черчение – едва сдала их на тройки.

Жирным черным карандашом я все же нарисовала этот сбор XII века и еще какую-то церквушку, стоявшую рядом. Беспомощные эти рисунки у меня сохранились. Но Овчинников был прав – рисовать надо было обязательно. Думаю, что из всех встреченных мной на долгом жизненном пути людей он оказал на меня, на мою жизнь, самое большое влияние. Даже телевизор я купила очень поздно. Он отрицал телевидение, говорил, что от телевизора у него чуть ли не горлом кровь начинает идти. Купила только через несколько лет, и то не для себя, а для кошек. Мы отдали одного рыжего котенка моим сослуживцам, и они пригласили, зайти – посмотреть, как их Рыжкин, которого я назвала Гюль-Сары, интересуется происходящим на экране. Действительно, кот с огромным интересом смотрел мультфильм про лису, петуха и кота, весь сжимался и напряжинивался, когда лиса за кустом подстерегала беззаботного петуха. Потом стали показывать Съезд колхозников, и кот с презрением ушел от телевизора. Самое странное, что ни

одна из наших многочисленных кошек за все годы телевизором так и не заинтересовалась.

Вернулась я в храм. А.Н. дал мне еще бумаги и пастель. Велел срисовывать фрески – фигуры отдельных святых. Даже сам быстро (но не очень похоже) изобразил для меня лик Николы Чудотворца. Он работал тогда над копией большой алтарной фрески «Чудо Георгия о Змие». Говорил, что фреска так прекрасна, что даже когда сбивали штукатурку, поновляя собор, рука не поднялась уничтожить этот шедевр. Написаны фрески греческими мастерами. У них другое понимание этого сюжета. У новгородцев, например, Георгий копьем пронзает Змея, тот извивается, кровь брызжет, красный плащ святого выхлестывает за ковчег. У греков же Змей побежден словом Божиим. Ведет его на поводке царевна, и он послушно переступает лапами. А Георгий на белом фоне, на белом коне едет, как сомнамбула.

Подобные рассуждения я слышала от Овчинникова и позже в Москве. Он противопоставлял владими́ро-суздальцев и новгородцев. Говорил, что новгородцы – материалисты. Снаряжали экспедиции искать Беловодье – рай на земле. И на новгородских иконах люди стоят, как огурцы, одинаковые. А завоевал их Иван Грозный, и всё – не воспрямил Новгород. Суздаль же был уничтожаем пожаром, мором, войной множество раз. И всегда восстанавливался, потому что дух убить нельзя. Речь шла тогда об открытой в Рождественском соборе Суздаля фреске XIII века головы святого, а также об иконе «Покрова Божией Матери», которую Овчинников реставрировал.

В Старой Ладогe мы о многом разговаривали. Адольф Николаевич говорил и о поэзии. Я сказала о Маяковском. Он назвал его плоским поэтом. И противопоставил Мандельштама. Впервые, должно быть, тогда я услышала это имя. Много лет потом, приходя в какой-либо дом в гости, я устремлялась к книжной полке в поисках стихотворных сборников – искала стихи Мандельштама. Иногда находила одно-два стихотворения, переписывала их в тетрадку. Ужасно досадно было, когда в сборнике обнаруживалось

стихотворение из другого сборника, уже виденного мной, например, «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем...». Как же ленивы бывают составители!

Адольфа Николаевича беспокоило, что не хватит белил, чтобы закончить работу. Я готова была сократить свое пребывание в Ладого, чтобы выслать ему краску из Москвы. Но кажется, он еще при мне получил посылку с белилами.

Помню, что, поехав в Ладого к другому собору XII века, постояла на берегу реки, посмотрела на цветущий луг. На меня после Карелии эта природа не произвела большого впечатления. Через много лет, читая записные книжки Графа Ю.А. Олсуфьева, узнала, что он был в Старой Ладого летом 1933 года. И ее природа оказалась ему так близка.

Очень важным было то, что Овчинников открыл мне труды князя Евгения Трубецкого. Могла ли я тогда предположить, что в дальнейшем мне посчастливится заниматься князьями Трубецкими, общаться с их потомками, писать о них! Не подозревала, что Хотьково, где я живу, рядом с их подмосковной усадьбой Ахтыркой. А тогда Адольф Николаевич посоветовал мне прочитать лекции Е.Н. Трубецкого об иконе. «Умозрение в красках» я нашла в Ленинской библиотеке. Огромное впечатление! А «Два мира в древнерусской живописи» мне не выдали – брошюра была в спецхране. Но А.Н. дал мне прочитать имевшийся у него экземпляр. Третью – «Россия в ее иконе» – прочитала только в годы перестройки. Сейчас иногда с пренебрежением относятся к этим трудам Трубецкого. Конечно, тогда было накоплено еще мало знаний. Но, как мне кажется, часто именно в такой период целое видится яснее. Потом приходят узкие специалисты, разъясняют частности, тонкости. И это только мешает пониманию. Кроме того, важно, что Трубецкой обращался к обычным людям, а не к специалистам, и написал очень понятно. И еще: он не боялся. Ничего не боялся. Никакой критики не боялся. Не боялся говорить от первого лица. Был СВОБОДНЫМ человеком. Редко кто сейчас так безоговорочно свободен и смел.

Адольф Николаевич сказал, что в следующем году летом он будет в Ферапонтове, и предложил поехать мне. Несколько раз зимой я была у него дома. Но вот наступило лето. И я вовремя поехать в Ферапонтово не смогла – заболела. Немного оправившись, взяла отпуск. От Вологды – на пароходе до Кириллова. Познакомилась на палубе со старичком, который тоже ехал в Ферапонтово. У меня был билет в каюту, кажется, единственную. А у него место только на палубе. Уступила место в каюте. Жаль, что не расспросила я его. Был он бывшим зэком, реабилитированным. На пароходе заговорили о фресках, о том, что впервые их издал еще до революции Георгиевский. И он предположил, что напечатал эту книгу его родственник.

Путешествие длилось около полутора суток. В Кириллов прибыли в темноте. В гостинице (или доме приезжих) мест не было. Старик все-таки там остался, а я пристала к небольшой группе молодежи: юноша и две девушки тоже направлялись в Ферапонтово. Но у них, в отличие от меня, была какая-то договоренность о возможности переночевать в местной школе. Они не были рады мне, но и не оттолкнули прямо. Как-то переночевали на партах. Наутро пошла на автобус. Пыльно, тесно – дорогая недалняя, но нелегкая.

В Ферапонтове на почте мне посоветовали остановиться у тети Дуни. В ее избе были две комнаты – в одной, проходной, где стояла русская печь, жила сама тета Дуня (так она себя называла), в другой комнате – приезжие. Но там уже кто-то жил. И я поселилась на повети, в чуланчике с волоковым окошечком. На другой день появился и тот старик, с которым я встретила на пароходе. Он тоже попросился на ночлег. Тета Дуня говорила, что нет места. Он заявил, что он может спать просто на полу. Ее это очень смутило. Человек был явно интеллигентный, и уложить его прямо на пол... Как-то его все же устроили. Он собирался переночевать только одну ночь, кажется. Дальше его путь лежал в места других святых – Павла Обнорского, Нила Сорского... Очень звал и меня. Я этого не понимала. Спрашивала:

– Зачем? Ведь там ничего нет.

– Я встану и скажу: я стою там, где стоял Нил Сорский.

Первое утро в Ферапонтове. Подхожу к монастырю. Мостик. Два озера – направо и налево. На высоком берегу несколько белых церковных зданий. В храме одноногий худой человек пугающе строго смотрит на меня и спрашивает паспорт. Записывает. Потом узнала: Валентин Иванович – сторож. Позже он привык ко мне, даже не выгонял, когда уходил обедать. Оставлял на меня охрану. Тогда я пробыла внутри храма лишь несколько минут – стало плохо. Вышла и легла на траву. Лежала и смотрела в небо. Потрясение было такое, что сердце отчаянно колотилось. Так повторялось несколько раз. Как-то добралась до медпункта – он был рядом. Давление у меня оказалось 60/40. Так что дня три не решалась зайти в храм. Встретила Овчинникова. Он очень строго спросил, почему я не бываю в храме. На следующий день – пришла. Оказалось, что скоро экспедиция уже уезжает. Их было несколько человек, и масса вещей: какие-то громоздкие приборы, красящие камни, собранные на берегу озера. Надо было все запаковывать в ящики. Я взялась за это с радостью. Носила тяжеленные ящики, некоторые по 20 кг, на почту. И это был самый СЧАСТЛИВЫЙ день моей жизни. Самый счастливый. Я, как тот герой Джека Лондона, который мыл полы, раз это нужно для революции. Так я носила эти ящики с сознанием, что я делаю то, что нужно для древнерусского искусства. Для его сохранения и изучения.

Несколько испорчено было это настроение тем, что когда машина с экспедицией остановилась возле почты и я отдавала Овчинникову квитанции, он сунул мне в руку деньги за отправленные посылки. Со слезами смотрела я на пыль от удаляющейся машины.

А потом началась работа. Кто-то оставил чертежную доску в церкви. И стояли еще леса. Нашелся кусок обоев. И вот я стала в уменьшенном, конечно, масштабе срисовывать фреску, ту, что справа от портала. Она была написана на наружной стене, потом пристроили паперть, так что она оказалась защищенной от дождя. Конечно, фреска успела пострадать от

осадков, но зато ее не испортили реставрацией. Именно ее копировал Овчинников.

Рисовать я не умела. Проводила линию, видела, что не так. Стирала, проводила снова. Недели три работала над одним листом каждый день с 9 до 17 часов, кроме одного выходного в неделю. В выходной ехала в Кириллов, в музей, на весь день. В музее раз попросила лодку, выехала на озеро. Солнечные гребешки волн слепили глаза. Могуче стояли над озером белые башни монастыря. А как-то раз на обратном пути небо было светло-зеленым. Невиданное небо!

Все время в Ферапонтове я почти не спала. Может быть, часа на два засыпала. Перед глазами были всю ночь росписи Дионисия. Было тихо, темно, в волоковое окошко доносилась музыка – возле почты висел репродуктор.

Но дни были долгие, и после пяти вечера, когда Валентин Иванович запирает храм, мы ходили в окрестные деревни с художником Марленом из «Промграфики», его женой и еще одной художницей из Москвы. Обычно они начинали канючить раньше пяти часов, звать меня. Но я неизменно работала до последнего. Чаще всего ходили в Щелково. Там сохранилась на берегу озера деревянная мельница дивной красоты. Мельница без крыльев. Вставал месяц над озером. Мы сидели на берегу. Я думала, что это лучшее место на земле. Позже, встретившись на какой-то выставке с еще одним художником, который в Ферапонтове держался особняком, попросила его нарисовать мне экслибрис с этой мельницей. Он вырезал его из линолеума. Мне не понравилось – грубая работа. Но все же несколько штук я наклеила на книги. А через несколько лет узнала, что мельницы больше нет – разметало бурей, и жители распилили бревна. Есть в этом что-то символическое.

Марлен не рисовал. Он брал на берегу камень и сидя на полу в церкви часами растирал его курантом, как-то оказавшимся там. Сначала у него был ярко-малиновый камень, видимо, кусок кирпича, долго пролежавший в воде,

потом черный. Он наслаждался цветом, и я его понимала. Н.М. Чернышев считал, что Дионисий пользовался красками из растертых камней, который находил в озере. В Ферапонтове тогда на берегах большие камни были все исчерчены – люди пробовали мелкие камушки из озера, с мелководья. Действительно можно было найти все оттенки желтого и коричневого, розового и темно-красного, черного и серо-зеленого. Несколько ящичков таких камешков я послала посылками домой. А позже прочитала, что теперь мнение Чернышева оспаривают. По крайней мере, синий и ярко-зеленый – привозные пигменты. Но трудно поверить, что Дионисий не обратил внимания на такие замечательные местные краски. Мне кажется, что светло-розовую, так отличающую его росписи от всех предшествующих, он нашел именно здесь, в Ферапонтове.

Жена Марлена неожиданно стала срисовывать фрески карандашом. А он показывал на нее и говорил:

– Посмотрите, как она похожа на ангела!

И, правда, она была похожа на кудрявого ангела.

Еще у Марлена было стремление покупать предметы с росписью в ближних деревнях. Так, в одном месте он купил шкаф. На дверце был написан очаровательный лев. Кажется, покупал и прялки. Все очень дешево. А я, в одном из походов с этой кампанией, купила полотенце, длинное, с красной бранной техникой на концах и кистями. Стыдно, что заплатила какие-то пустяки. Но надо сказать, что тета Дуня, когда старик, о котором я упоминала, стал давать ей за ночлег деньги, была страшно смущена. Я присутствовала при этом. И долго потом она как бы оправдывалась передо мной. Когда я уезжала, она тоже не хотела брать денег. А взяв, просила никому не говорить – застыдят деревенские.

Как-то с Наташей, художницей, мы были в Щелкове вечером вдвоем. Пошли назад, и нас задержали маленькие ребяташки – взявшись за руки, они стали требовать выкупа. Это было так мило! А Наташа вдруг начала их стыдить. Как она не поняла деревенский обычай?! Дети разбежались...

С Наташей связан еще один эпизод. У тети Дуни сменились в комнате постояльцы. Я переходить комнату не хотела – мне было хорошо лежать ночи напролет у волокового окошечка в чулане. Поселилась в комнате новая пара. Молодые. Утром зашла за мной Наташа. Я пила чай из самовара. Тета Дуня поила меня по утрам чаем. Когда я, отставляла пятую чашку, она принималась плакать:

– Ты, Таня, заболела – чаю не пьешь. Приходилось пить шестую чашку.

Так вот в тот день дверь в комнату приезжих была открыта, а их самих не было. И Наташа бесцеремонно вошла. Увидела, что из рюкзака торчал край иконы. Потянула. Позвала меня. Я сразу поняла, что икона из Кирилловского музея – там было несколько икон, кажется, XVII века, одинакового размера, с одинаковым растительным орнаментом, в красно-синих красках. Что делать? В деревне был колхоз «Просвет». Решили идти в правление колхоза – там был телефон. Объяснили ситуацию. Дозвонились. Музейщики, конечно, даже не заметили утрату. Удалось все же добиться, чтобы приехал милиционер. Икону отобрали, но похитителей задерживать не стали, только предложили им срочно уехать. Потом узнала, что на обратном пути эта парочка, как ни в чем не бывало, зашла в Кирилловский музей. Оттуда их прогнали. А когда я в очередной выходной приехала в музей, смотрительница, молодая женщина, в зале, где висели те иконы с пестрым орнаментом, особенно подозрительно смотрела на меня. На какое-то время мы повысили ее бдительность.

Постепенно я стала понимать, что расстояния между отдельными предметами на фреске неслучайны, что высота ступеньки в «Ласканыи младенца» равна расстоянию от головы служанки до какой-то архитектурной детали, в «Купании Марии». Получается, что можно было проверить алгеброй гармонию. Разве я поняла бы это, если бы умела рисовать?!

Удивительно, как на глазах менялась в Ферапонтове природа. Раньше я не обращала внимания на такие изменения. Поле льна было сначала голубым, потом желто-зеленым, потом – черным.

Отпуск кончился. В семь утра я шла с рюкзаком с электрички домой. В восемь надо было быть на работе.

А на следующий год вечером, в последний рабочий день перед отпуском я была уже на вокзале. Опять Вологда. На этот раз долетела до Кириллова маленьким самолетом. И опять я у тети Дуни. Но в этот раз в руках у меня для нее две коробки вафельных тортов, а в рюкзаке акварель и пастель. И еще лист ватмана, на который переведен контур прошлогодней фрески.

Тут оказалось, что из Ленинграда приехала на практику группа студентов монументального отделения Мухинского художественного училища. Жили они в помещении школы. Но двое мальчишек надумали строить шалаш прямо на территории монастыря, впрочем, неогороженной. И шалаш получился. Но ночи-то холодные – июнь. И тут я поняла, что значит русская печка. Где, как на ней высушить мокрую одежду и обувь! Пришлось этим юношам порой пользоваться печкой тети Дуни.

В собор большинство студентов заходили на несколько минут. Сделав небрежно несколько набросков, уходили. Преподаватель старался всё же засадить их за работу. И ставил в пример меня, сидевшую, по-прежнему, с 9 до 17-ти каждый день. Как ни странно, ставил в пример не только мою добросовестность, но и результат. О том, что я не художница, он не подозревал. Уж позже я ему об этом сказала. К моему изумлению эти ленинградские мальчишки не умели подобрать краски. Да и не старались. И как будто не видели, что плоскость листа просто проваливается, когда, например, брали чересчур интенсивный цвет. Только у преподавателя да у мальчика, помню, что его звали Толей Ивановым, получалось правильно. Большинству ленинградцев было скучно. Они вспоминали разноцветные столики кафе, блеск фонарей в лужах на асфальте ...

А у меня была проблема: никак не получалось синее небо. Сторож Валентин Иванович, видя мои мучения, помог: сказал, что А.Н. Овчинников

сначала написал небо зеленой краской, а потом уже голубой. И еще растер в порошок стеклянную бутылку и присыпал. Я попробовала сначала зеленым. И все получилось! Толченым стеклом, конечно, не пользовалась.

Запомнился еще случай с галкой. Залетела она в храм. Валентин Иванович попросил ленинградских ребят галку поймать. Поймали, выпустили.

Как-то вечером пошли мы с двумя или тремя этими мальчиками в Щелково. Оказалось, что там сделали качели. Деревянные качели с доской на двоих. Боже, как замечательно и как страшно было качаться!

В озерах тогда водились раки. Умываться я по утрам бегала на озеро. Некоторые из приезжих ловили их просто вилкой – втыкали в спину. Мне было их жалко. Они маленькие были.

Как-то тета Дуня позвала меня в баньку. Договорилась с соседями. Банька топилась по-черному. А чтобы нагреть воду, надо было бросать раскаленные камни в котел. Такой древностью повеяло.

Ходила я раз за грибами. Поджарили мы их с тетей Дуней. А они оказались горькими. Тета Дуня расстраивалась очень. Все говорила, что надо больше луку добавить... Попал, наверное, какой-то один не тот гриб.

Горько в тот раз было уезжать из Ферапонтова.

Думаю сейчас, когда же это я ходила за грибами? Может быть, это было уже в третий раз? На следующий-то год я поехала не в Ферапонтово, а Самарканд. Хотелось понять, есть ли связь голубых куполов Самарканда и синевы неба на ферапонтовских фресках. Овчинников считал, что нет, но я хотела убедиться сама. Среднюю Азию в этом рассказе пропускаю. Побывала я в Ферапонтове через два или три года. Уже не было лесов перед «моей» фреской, не было доски... И, пробыв недели две, я уехала в Ленинград.

Дома свою копию фрески я прикрепил на деревянную дверь комнаты. Как-то, когда болела, пришел врач, человек от искусства очень далекий. Я спросила его, что он видит, глядя на эту фреску. Он посмотрел и сказал:

– Там рай.

Наверное, это самое точное определение. А мне всегда вспоминались строки Валерия Брюсова:

*Создал я в тайных мечтах  
Мир идеальной природы, –  
Что перед ним этот прах:  
Степи, и камни, и воды!*

Идеальная природа, рай.

Соседка моя, кандидат педагогических наук, все настаивала, что я должна что-то писать. Писать в газету. Она приставала и приставала. Но о чем написать? Решила, что надо написать о самом лучшем, что было у меня в жизни. Значит, – о Ферапонтове. Не соображала я совсем, что тема никак не связана с нашей местностью, а пишу-то в маленькую районную газету. Написала, послала ... И вдруг получила от ответственного секретаря редакции Е.С. Галкиной приглашение зайти. Вероятно, моя жизнь сложилась бы иначе, если бы она отнеслась к моей первой корреспонденции по-другому. Да, ее тоже смущала привязка заметки к местной жизни. Я что-то пыталась сказать о Дионисии, об Андрее Рублеве, «Троица» которого связана с нашим Загорским музеем... Все это было не то. И все-таки мою заметку напечатали. И предложили писать еще. Так я стала штатным корреспондентом. Это был, наверное, первый шаг ко всем моим будущим книгам и статьям. Шел 1985 год.

Моя заметка попала на глаза вдове художника Н.М. Чернышева. Кажется, она жила на даче в Абрамцево или кто-то из ее знакомых жил, так что получили местную газету. Она разыскала меня, мы встретились на платформе, поговорили. И даже еще много позже приглашала она меня на выставку Н.М. Чернышева в Третьяковской галерее. Пожалуй, я зря не пошла на более близкое знакомство с этой семьей.

Прошло много лет. Я уже работала в Сергиево-Посадском музее-заповеднике. Как-то музей организовал для сотрудников поездку на автобусе: Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск. В Ферапонтове все

изменилось. Деревянная гостиница рядом с монастырем, столовая (мне дали там протухший винегрет). Я никак не могла сориентироваться – даже избу тети Дуни не сумела найти. Валентина Ивановича уже не было. При входе продавали билеты и сувениры. В сам храм пускали маленькими группами на пять минут. Нет, дух Ферапонтова ушел из этого места. Жаль, что приехала.

Г.И. Вздорнов, узнав, что я побывала в Ферапонтове, огорчился, что я не знала о том, что он создал там библиотеку, не осмотрела ее. Боже мой! Зачем библиотека в Ферапонтове?! Группы туристов приезжают туда на полтора часа. Кому нужен этот темный музей каких-то старинных вещей и этнографических экспонатов?! Фрески Дионисия, пейзаж – озера, избы, поля – вот что нужно. И все загублено, загажено ради равнодушных туристских толп, которым все равно, куда их везут, что смотреть. Раньше было добираться трудно – хоть по воде, хоть много часов по пыльному шоссе. И приезжали в основном те, кому Дионисий был по-настоящему нужен.

Еще одну попытку встретиться с фресками Дионисия я предприняла, когда в Москве была открыта выставка копий. Пошла радостная. Помнила, что в ферапонтовском храме целыми днями работал, копировал фрески Гусев. Каждый день здоровалась с ним. По-моему, он скопировал все фрески, и очень точно. А в Третьяковке ... На стенах залов, выкрашенных в красный цвет, каким красят пожарный инвентарь, висели копии множества авторов. И ничего, ничего похожего на Дионисия.

На презентации книги посетителей Ферапонтова монастыря, изданной Г.И. Вздорновым, я выступила, что-то рассказала и показала свою копию фрески. Зал встретил ее дружным смехом. Почему?! Знаю, что сделала очень точно. Скорее всего, никто из присутствовавших или не видел Дионисия, или не вглядывался в его живопись. А ведь сидели в зале в основном музейные работники. Вздорнов потом попросил меня отдать мою копию в Музей Ферапонтова и еще написать, что я помню о Ферапонтове. Вот прошло несколько лет. Написала. Но можно ли эти воспоминания послать ему? Во-первых, я не могу обойти имя А.Н. Овчинникова, а ведь он, слава Богу, жив,

работает. Слышала, что значительная часть его копий сгорела во время пожара Центра имени Грабаря. Как он смог выдержать такое несчастье?!

И еще я ведь не могу одобрить создание по инициативе Вздорнова этого казенного музея в Ферапонтове. Наверное, многого не знаю. Возможно, фрескам грозила гибель, и нельзя было поступить по-иному. Но в моей памяти останется Ферапонтово начала 60-х годов, бессонные ночи, мельница без крыльев, озеро, дымки над трубами изб и тонкий месяц. И останется у меня та копия фрески, свернутая в трубочку, хоть и не могу теперь я ее расправить.

А стенопись Снетогорского монастыря, о которой тоже писал Н.М. Чернышев, я увидела. Приехала в Псков – в монастыре все заперто. Пошла в Отдел культуры. Попросила разрешения. Меня спросили:

– А Вы кто?

Подумала и ответила:

– Человек.

И все-таки разрешили. Но была возможность в темноватом пространстве храма пробыть только несколько минут. И я ничего не запомнила. Еще одно свидетельство полной бессмысленности таких туристских посещений.